

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

Собака

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воеет страшная, неистовая буря.

Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает — но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновение и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом...

И конец!

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами...

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь жметя пугливо к другой.

Февраль, 1878

Дурак

Жил-был на свете дурак.

Долгое время он жил припеваючи, но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца.

Смутился дурак и начал печалиться о том, как бы прекратить те неприятные слухи?

Внезапная мысль озарила наконец его темный умишко... И он, нимало не медля, привел ее в исполнение.

Встретился ему на улице знакомый — и принялся хвалить известного живописца...

— Помилуйте! — воскликнул дурак. — Живописец этот давно сдан в архив... Вы этого не знаете? — Я от вас этого не ожидал... Вы — отсталый человек.

Знакомый испугался — и тотчас согласился с дураком.

— Какую прекрасную книгу я прочел сегодня! — говорил ему другой знакомый.

— Помилуйте! — воскликнул дурак. — Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится; все на нее давно махнули рукою. — Вы этого не знаете? Вы — отсталый человек.

И этот знакомый испугался — и согласился с дураком.

— Что за чудесный человек мой друг N. N.! — говорил дураку третий знакомый. — Вот истинно благородное существо!

— Помилуйте! — воскликнул дурак. — N. N. — заведомый подлец! Родню всю ограбил. Кто ж этого не знает? Вы — отсталый человек!

Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком, отступился от друга. И кого бы, что бы ни хвалили при дураке — у него на все была одна отповедь.

Разве иногда прибавит с укоризной:

— А вы всё еще верите в авторитеты?

— Злюка! Желчевик! — начинали толковать о дураке его знакомые. — Но какая голова!

— И какой язык! — прибавляли другие. — О, да он талант!

Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом.

И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний.

Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, — сам авторитет — и юноши перед ним благоговеют и боятся его.

Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть... но тут, поди, не возблагодарив — в отсталые люди попадешь!

Житье дуракам между трусами.

Апрель, 1878

Два четверостишия

Существовал некогда город, жители которого до того страстно любили поэзию, что если проходило несколько недель и не появлялось новых прекрасных стихов, — они считали такой поэтический неурожай общественным бедствием.

Они надевали тогда свои худшие одежды, посыпали пеплом головы — и, собираясь толпами на площадях, проливали слезы, горько роптали на музу, покинувшую их.

В один подобный злополучный день молодой поэт Юний появился на площади, переполненной скорбевшим народом.

Проворными шагами взобрался он на особенно устроенный амвон — и подал знак, что желает произнести стихотворение.

Ликторы, тотчас замахали жезлами.

— Молчание! внимание! — зычно возопили они — и толпа затихла, выжидая.

— Друзья! Товарищи! — начал Юний громким, но не совсем твердым голосом:

Друзья! Товарищи! Любители стихов!
Поклонники всего, что стройно и красиво!
Да не смущает вас мгновенье грусти темной!
Придет желанный миг... и свет рассеет тьму!

Юний умолк... а в ответ ему, со всех концов площади, поднялся гам, свист, хохот.

Все обращенные к нему лица пылали негодованием, все глаза сверкали злобой, все руки поднимались, угрожали, сжимались в кулаки!

— Чем вздумал удивить! — ревели сердитые голоса. — Долой с амвона бездарного рифмоплета! Вон дурака! Гнилыми яблоками, тухлыми яйцами шута горохового! Подайте камней! Камней сюда!

Кубарем скатился с амвона Юний... но он еще не успел прибежать к себе домой, как до слуха его долетели раскаты восторженных рукоплесканий, хвалебных возгласов и кликов.

Исполненный недоуменья, стараясь, однако, не быть замеченным (ибо опасно

раздражать залютевшего зверя), возвратился Юний на площадь.

И что же он увидел?

Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите, облеченный пурпурной хламидой, с лавровым венком на взвившихся кудрях, стоял его соперник, молодой поэт Юлий... А народ вопил кругом:

— Слава! Слава! Слава бессмертному Юлию! Он утешил нас в нашей печали, в нашем горе великом! Он подарил нас стихами слаще меду, звучнее кимвала, душистее розы, чище небесной лазури! Несите его с торжеством, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной фимиама, прохлаждайте его чело мерным колебанием пальмовых ветвей, расточайте у ног его все благовония аравийских мирр! Слава!

Юний приблизился к одному из славословящих.

— Поведай мне, о мой согражданин! какими стихами осчастливил вас Юлий? Увы! меня не было на площади, когда он произнес их! Повтори их, если ты их запомнил, сделай милость!

— Такие стихи — да не запомнить? — ретиво отвечивал вопрошенный. — За кого ж ты меня принимаешь? Слушай — и ликуй, ликуй вместе с нами!

«Любители стихов!» — так начал божественный Юлий...

Любители стихов! Товарищи! Друзья!
Поклонники всего, что стройно, звучно, нежно!
Да не смущает вас мгновенье скорби тяжкой!
Желанный миг придет — и день прогонит ночь!

— Каково?

— Помилуй! — возопил Юний, — да это мои стихи! Юлий, должно быть, находился в толпе, когда я произнес их, — он услышал и повторил их, едва изменив, — и уж, конечно, не к лучшему, — несколько выражений!

— Ага! Теперь я узнаю тебя... Ты Юний, — возразил, насупив брови, остановленный им гражданин. — Завистник или глупец!.. Сообрази только одно, несчастный! У Юлия как возвышенно сказано: «И день прогонит ночь!..» А у тебя — чепуха какая-то: «И свет рассеет тьму»?! Какой свет?! Какую тьму?!

— Да разве это не всё едино... — начал было Юний...

— Прибавь еще слово, — перебил его гражданин, — я крикну народу... и он тебя растерзает!

Юний благоразумно умолк, а слышавший его разговор с гражданином седовласый старец подошел к бедному поэту и, положив ему руку на плечо, промолвил:

— Юний! Ты сказал свое — да не вовремя; а тот не свое сказал — да вовремя. Следовательно, он прав — а тебе остаются утешения собственной твоей совести.

Но пока совесть — как могла и как умела... довольно плохо, правду сказать — утешала прижавшегося к сторонке Юния, — вдали, среди грома и плеска ликований, в золотой пыли всепобедного солнца, блистая пурпуром, темнея лавром сквозь волнистые струи обильного фимиама, с величественной медленностью, подобно царю, шествующему на царства, плавно двигалась гордо выпрямленная фигура Юлия... и длинные ветви пальм поочередно склонялись перед ним, как бы выражая своим тихим вздыманьем, своим покорным наклоном — то непрестанно возобновлявшееся обожание, которое переполняло

сердца очарованных им сограждан!

Апрель, 1878

Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговая.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрель, 1878

Роза

Последние дни августа... Осень уже наступала.

Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грома и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной.

Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя.

Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полураскрытую дверь.

Я знал, что свершалось тогда в ее душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной борьбы, она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить.

Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась.

Пробил час... пробил другой; она не возвращалась.

Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой — я в том не сомневался — пошла и она.

Все потемнело вокруг, ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алея даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет.

Я наклонился... то была молодая, чуть распутившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди.

Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол, перед ее креслом.

Вот и она вернулась наконец — и, легкими шагами пройдя всю комнату, села за стол.

Ее лицо и побледнело и ожило; быстро, с веселым смущеньем бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза.

Она увидела розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня — и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами.

— О чем вы плачете? — спросил я.

— Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней случилось.

Тут я вздумал выказать глубокомыслие.

— Ваши слезы смоят эту грязь, — промолвил я с значительным выраженьем.

— Слезы не моют, слезы жгут, — отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя.

— Огонь сожжет еще лучше слез, — воскликнула она не без удали, — и прекрасные глаза, еще блестящие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо.

Я понял, что и она была сожжена.

Апрель, 1878

Милостыня

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжело и слабо, словно чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат — и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба — и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы все капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову и увидел перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

— Ты все свое богатство роздал, — слышался ровный голос... — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

— Не жалею, — отвечал со вздохом старик, — только вот умираю я теперь.

— И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец, — не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не отвечал — и задумался.

— Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец, — ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему — и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой — и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба — и сладок показался ему выпрошенный кусок — и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

Май, 1878

Лазурное царство

О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья! Я видел тебя... во сне.

Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами.

Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я!

Да я и не замечал их. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, все покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нем, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце.

И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как смех богов!

А не то вдруг с чьих-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы... Казалось, самое небо звучало им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало... А там опять наступала блаженная тишина.

Слегка ныряя по мягким волнам, плыла наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая.

Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные, длиннокрылые птицы.

Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки.

Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И все вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — все говорило о любви, о блаженной любви!

И та, которую каждый из нас любил, — она была тут... невидимо и близко. Еще мгновение — и вот засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку — и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай!

О лазурное царство! я видел тебя... во сне.

Июнь, 1878

Два богача

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не́ на что будет соли добыть, похлебку посолить.

— А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июль, 1878

Памяти Ю. П. Вревской

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Сентябрь, 1878

Последнее свидание

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен и желает видиться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съезженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы... Никуда не смотрят ее глубокие, бледные глаза; ничего не говорят ее бледные, строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила...

Апрель, 1878

Порог

Сон

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь переступить этот порог, — знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю, — отвечает девушка.

— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

— Знаю.

— Отчуждение полное, одиночество?

— Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов — но и от родных, от друзей?

— Да... и от них.

— Хорошо. Ты готова на жертву?

— Да.

— На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!..

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.
Голос не тотчас возобновил свои вопросы.
— Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?
— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.
— Войди!
Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.
— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.
— Святая! — пронеслось откуда-то в ответ.

Май, 1878

Щи

У бабы-вдовы умер ее единственный, двадцатилетний сын, первый на селе работник. Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.
Она застала ее дома.
Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движением правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.
Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.
«Господи! — подумала барыня. — Она может есть в такую минуту... Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»
И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!
А баба продолжала хлебать щи.
Барыня не вытерпела наконец.
— Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!
— Вася мой помер, — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. — Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные.
Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

Май, 1878

Враг и друг

Осужденный на вечное заточенье узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать... За ним по пятам мчалась погоня.
Он бежал изо всех сил... Преследователи начинали отставать.
Но вот перед ним река с крутыми берегами, узкая — но глубокая река... А он не умеет плавать!

С одного берега на другой перекинута тонкая, гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу... Но случилось так, что тут же возле реки стояли: лучший его друг и самый жестокий его враг.

Враг ничего не сказал и только скрестил руки; зато друг закричал во все горло:

— Помилуй! Что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? Она сломится под твоєю тяжестью — и ты неизбежно погибнешь!

— Но ведь другой переправы нет... а погоню слышишь? — отчаянно простонал несчастный и ступил на доску.

— Не допущу!.. Нет, не допущу, чтобы ты погибнул! — возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. Тот мгновенно бухнул в бурные волны — и утонул.

Враг засмеялся самодовольно — и пошел прочь; а друг присел на бережку — и начал горько плакать о своем бедном... бедном друге!

Обвинять самого себя в его гибели он, однако, не подумал... ни на миг.

— Не послушался меня! Не послушался! — шептал он уныло.

— А впрочем! — промолвил он наконец. — Ведь он всю жизнь свою должен был томиться в ужасной тюрьме! По крайней мере он теперь не страдает! Теперь ему легче! Знать, уж такая ему выпала доля!

— А все-таки жалко, по человечеству!

И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге.

Декабрь, 1878

«Как хороши, как свежи были розы...»

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове все звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...

И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы...

А в комнате все темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени

колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною — и чудится скучный, старческий шепот...

Как хороши, как свежи были розы...

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино — и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

Как хороши, как свежи были розы...

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жметесь и вздрагиваете у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли...

Как хороши, как свежи были розы...

Сентябрь, 1879

Мы еще повоюем!

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге.

Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною.

Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелую уходила вдаль дорога.

И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикавая, словно и черт ему не брат! Завоеватель — и полно!

А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удачу, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит *мой* ястреб...

— Мы еще повоюем, черт возьми!

Ноябрь, 1879

Русский язык

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882